

ОН ИДЕТ

Приметы были плохие. Становой, кажется, недоволен был взяткой и хотя обещал, что не допустит погрома, ему верили мало. Хуже всего было то, что никто наверно не знал, отменят ли крестный ход с образом спаса, который должен был состояться завтра после церковной службы. Об этом с тревогой говорили в местечке, и лавочники, забыв о покупателях, оставляли свои лавки на волю божью, а сами собирались кучками на площади, среди местечка. Здесь приглушенными таинственными голосами, тревожно озираясь вокруг, передавали друг другу о каких-то подозрительных чужих людях, которые появились недавно в местечке, о панках-черносотенцах, которые были бы рады погрому, о том, что их «пурии», купцы побогаче, с раннего утра начали убегать из местечка со своими женами и детьми. Иногда разговор становился горячим и бурным, слова гремели, как возы с железом, и белые руки лавочников то и дело мелькали перед рыжими бородами. Но когда раздавался вдруг грохот колес по мостовой и большая балагульская бричка подкатывала к одному из домов побогаче, всеми окнами - глядевшему на площадь, разговоры стихали, и все хмуро и злобно смотрели, как выносят поспешно из дверей всякий скарб, сундуки и подушки, и бричка до краев наполняется женщинами и кудрявыми детьми. Когда же бричка исчезала, наконец, в облаках серой пыли, разговоры снова оживлялись и переходили в крик. Извозчик Иосель, крепкий, высокий мужчина, метался по базару с кнутом в грубых, узловатых руках и хвалился, что уже отправил все три своих фургона. Он уверял, что к вечеру в местечке не будет ни одной подводы.

Солнце еще не зашло, однако лавки уже начали закрываться. Всюду скрипели железные засовы, брнчали замки и ключи, гремели двери, заслоняя черный зев, - и в одно мгновение серые древние стены рынка выбросили вон всех людей. Площадь на минуту ожила, стала людной. Старые балабусты¹ собирали со столиков баранки и булки, покрытые пылью, весь свой жалкий товар, окали, стонали и, сгибаясь под тяжестью корзин, спешили домой. Черные кучки понурых; охваченных волнением людей растекались с базара по темным улочкам, - и на площади стало так пусто и тихо, точно весь гомон жизни обратился вдруг в серый камень.

Приближался вечер. Солнце росло, пламенело и медленно опускалось вниз. Красный туман поднимался на западе, и словно кровавые призраки надвигались оттуда на город. Сначала робко, поодиночке, а потом сплошными рядами. Беззвучной процессией

¹ Балабусты – женщины (евр.)

прошли они между опустевшими стенами, оставляя на камне горячие красные следы и отражаясь в окнах своими кровавыми лицами.

Древние стены дрожали от ужаса всеми своими морщинами, и только красные маки, что росли вверху по карнизам, приветствовали гостей смехом. А когда солнце село и пришла ночь, как черная дума земли, красные гости исчезли и местечко совсем замерло.

В доме старого шохата² Абрума, при свете сальных свечей, шло совещание. Там собрались одни старые, почтенные люди, с морщинами опыта на бледных лицах, с белыми бородами, как у далеких предков. Все говорили разом, ибо всех одно волновало. Одни хотели собрать еще денег для станового, другим приходила в голову мысль просить защиты у попов. Иные же советовали собраться в синагоге и в молитвах провести ночь. Великий бог, который вывел Израиля из пустыни и донине не дал ему утонуть в волнах зависти других народов, еще раз отвратит от него руку врага. Все это было хорошо, но не могло ни объединить, ни успокоить. Когда же извозчик Иосель, у которого грудь была покрепче, перекричал всех и заявил, что молодежь решила защищаться, что она будет стрелять, - и вытянул перед собой кнут, как револьвер, - ужас сковал всем уста, и белые бороды, как увядшие, упали на грудь. Потом поднялся шум. Старый шохат Абрум, который на своем веку спокойно перерезывал горло тысячам кур и гусей, побелел весь и закричал: «Как! Они хотят стрелять! Эти сумашедшие, эти безумцы! Эти политики! Они хотят пролить кровь, которая падет на наши же головы. Они накличат месть - и месть, как волк, пожрет наших детей, весь спокойный народ!.. Айкай!..»

И все кричали вместе с Абрумом, кричали беззубые рты, кричали морщины мудрости и опыта, тряслись бороды и белые худые руки. И от возмущения и крика всем стало душно и даже легче, как будто криком она прогнали из дома тревогу.

Это яростное возмущение скоро, однако, прошло, и крики понемногу затихли. Снова возник все тот же, вопрос: что же делать? Время шло, и каждая минута, умирая навеки, рождала другую, а га приближала страшную неизвестность. Никто уже ничего не советовал. Все чувствовали усталость. И чем яснее становилось, что ничем не поможешь, что нельзя даже бежать, потому что нет лошадей, люди начали верить в чудо. Случится что-нибудь такое, что отвратит беду, крестный ход пройдет спокойно и не затронет никого. Может, не так уж все плохо? Может, ничего не случится?

Кому-то пришла в голову мысль: что скажет слепая Эстерка? Ведите сюда Эстерку!.. Она все угадает...

² Шохат – мясник (*евр.*)

И все пожелали услышать, что скажет Эстерка. Извозчик Иосель и зять Абрума поднялись, чтобы привести слепую.

Она еще не спала. На пороге темной, как и хозяйка, хаты она сидела черной глыбой и как будто пела. Тихие, жалобные звуки, словно плач дитяти, шли снизу, от черной глыбы, и так удивительно и даже страшно было слушать эту песню, что Иосель остановил своего товарища и не решался окликнуть старуху. Он не мог разобрать, поет ли она или плачет. Наконец решился и тихонько позвал:

- Бобе!.. бобе Эстерка!..

Внизу дрожали все те же звуки.

- Бобе!.. Послушайте, бобе!

Пение стихло, и послышалось долгое жалобное сморкание. Когда они рассказали ей, зачем пришли, она молча встала и простерла во тьму дрожащие руки, ища опоры. Ее взяли под руки и повели. Двери темной хаты остались открытыми настежь.

Всюду, где они проходили мимо освещенных окон и открытых дверей, к ним присоединялись женщины и мужчины; дети бежали за ними, как пыль. Друг другу шептали, что слепую Эстерку, которая предугадала смерть своих детей и потом выплакала по ним глаза, ведут к шокату.

В комнате у Абрума набилось столько народу, что стало трудно дышать. Когда же открыли окно, чтобы впустить свежего воздуха, свет упал на целое море напряженных, взволнованных лиц и в окно влетела стоокая тревога.

И все увидели Эстерку. Ее окаменевшее от горя лицо и красные глаза, из которых непрерывно стекала слеза. Словно ветер овеял все лица. Ай-ай!

Абрум хотел ее посадить, но она не села. Только оперлась руками о подлокотники стула. Ее спрашивали, ей говорили, но она не слышала. Что ей было до этого? Она, носившая в сердце великое горе, которое не могло там уместиться и выливалось через слепые глаза, видела только своих сыновей, о них говорила. Она описывала все подробности, которых никогда не видала, потому что была далеко, рисовала картину так, точно она была выжжена на ее красных веках, закрывавших глаза. И голос ее звучал, как у ветхозаветных пророков.

- Я вижу зверей, всюду звери... В глазах у них огонь и на губах кровь... человеческая... красная... А в сердцах их волчья жадность... Они несут своего бога, и на кольях, которые они держат в руках, кровь... Кровь сыновей моих бедных... Ай-ай!

- Ай-ай! - вырвался вздох из десятков грудей в доме и под окном.

- А их попы поют и черными устами возносят хвалу господу богу, а на ризах у них кровь... человеческая кров... И рычат с попами кровавые звери и разбивают о камень головы деточек малых... Ай-ай!

-- Ай-ай! - вздох трепещет вокруг, и свет от него меркнет в доме.

- Вот под ногами у меня кровь... Черная, запекшаяся... большие черные лужи. Лежат женщины, белые, как стена, и глядят их мертвые глаза на мужей... на трупы детей... И скачут по детям опьяневшие звери и режут: смерть! смерть!

- Ай-ай! - стонут в доме и плачут на улице.

- Огонь и смерть!.. Я вижу руки, я вижу глаза, они просят Лошади... Я слышу крик... Рушатся стены..., стреляют... Ад... Ох, душно мне... Ох, мое сердце... А теперь слышите? Ша! Бегут по лестнице... ломают двери... А там мои дети... мои сыны милые... Ай-ай!.. Спасите! Не бейте... Лежит мой Хаим... лежит мой Лейба, они же кормили свою старую маму... и больше не встанут... Ой-ой! ай-ай!..

-- Ай-ай!.. ай-ай! - все подхватывают вопль, и становится тоскливо и страшно, как в судный день.

А бабе Эстерка все говорила, и слезы все текли из ее слепых глаз. Разбитый старческий голос иногда звенел, как голос пророка, и тогда тишина воцарялась вокруг и люди, затаив дыхание, на дно сердца слагали каждое слово старухи, как тяжкую скорбь. Быть может, это не Эстерка говорит, а сама их судьба, и красный туман, что навис над ними сейчас, обратится завтра в действительность. Быть может, дети, что жмутся теперь теплыми личиками к материнским коленям, завтра будут валяться на улицах мертвые, и их будет топтать тяжелыми сапожищами пьяная толпа... Ай-ай!..

Народ навис под окном и все прибывал. Растрепанная, в одной рубахе, женщина пробивалась сквозь толпу поближе к дому и прижимала к груди кривой семисвечник из старого серебра, быть может единственную ценность семьи. Большие жилы на ее руках голубели на свету. Испуганные дети начинали реветь, женщины их успокаивали и вытирали слезы руками. Крайние вздыхали; и всю эту скорбь, и все эти слезы собирала синяя ночь и громоздила их в тучу, которая поднимала уже чело на ночном небосклоне.

Когда же Эстерка замолкла и ее поникшую, опустошенную, вывели под руки из дома, народ расступился, заговорил и двинулся за ней к ее хате.

Гости шохата тоже разошлись, разнеся с собою на ночь тревогу.

Неспокойную ночь переживало местечко перед христианским праздником. До утра светились в домах огни и суетились люди, готовясь к завтрашнему дню, как к пожару. Вязали узлы и прятали все, что только можно было спрятать. И стояли повсюду плач и стон.

А когда солнце взошло, ему улыбнулись лишь красные маки с карнизов рынка да дороги, заросшие маком, что растекались, словно кровавые реки, меж зеленых хлебов от стен местечка. Дома были хмуры, все в тенях, и тени легли у людей под глазами. Старая мечеть, наполненная сейчас зерном, как некогда правоверными гири владычестве турок, была черна от черных воспоминаний о кровавых событиях, миновавших, казалось, навеки, а серый рынок стоял хмурый, весь в морщинах, как старик, который все уже видел и утратил надежды.

Местечко было безлюдно. По опустевшим улицам блуждали лишь козы. Когда солнце поднялось высоко, колокол ударил на колокольне: качнул воздух и, как нож, проник в сердце. Появились люди. Сперва редко, как удары колокола. Но когда все колокола, качнувшись разом, пустились в пляс, большие, средние, маленькие, и замелькали в воздухе, как метель, отовсюду высыпали люди, точно звон притягивал их к себе. И сотни испуганных глаз смотрели вслед им сквозь стекла окон.

Бледный, невыспавшийся шохат Абрум тоже слушал звон колоколов, хотя они давно уже смолкли. Его била дрожь, и он сам удивлялся, что у него так прыгают челюсти, так трясутся руки и ноги. Ведь еще неизвестно, пойдет ли крестный ход или нет, будет ли что-нибудь, или не будет. Но ведь он важное духовное лицо и не может быть быть свидетелем народного бедствия. Наконец он решился и переступил порог своего дома. Мелкими неверными шагами, озираясь и оглядывая каждого «гоя» так, точно впервые встретился с ним, он пошел сначала по боковой улице, безлюдной сейчас, а затем свернул к площади. Из окон и дверей на него смотрели его единовверцы, и он приветливо кивал им головой и кривил в улыбку свои бледные губы. Он даже пробовал что-то говорить хриплым, сдавленным голосом, но всякий раз замолкал, таким удивительным и странным казался ему собственный голос. Да и вообще ему казалось, что это не он идет, а кто-то чужой, незнакомый так странно ступает трясущимися ногами по какой-то странной, как будто легкой земле. И он даже видел, как тот «чужой» идет. По дороге он встречал молодежь, бежавшую с площади, от церкви. Ему казалось, что он спрашивает, но он только стоял и молча смотрел встречным в глаза. И ему рассказывали. На ходу, торопясь, коротко, отрывисто.

Много народа... из сел... и с окраин. Идут к церкви... а собирают камни... кладут за пазуху... кто-то видел топор... под полой... И бежали дальше.

На одной улице, где народ в тревоге высыпал из домов, он видел, как круглолицая кудрявая девушка (чья сна?) металась между людьми с хорьковой шубой и всех умоляла спрятать ее. Девушку встречали болезненной улыбкой и отказывали, но своими молящими, почти безумными глазами она сеяла ужас.

Абрум пошел дальше. Мимо него проехал становой, слегка подпрыгивая на мягких рессорах. Абрум поднял руки и что-то закричал, чтобы остановить его. Но тот даже не оглянулся. Блеснул на солнце белым кителем и золотом погон и исчез. И вдруг шохат ощутил в сердце жгучую ярость. Его даже дрожь проняла. Теперь он пришел в себя и мог говорить. Он перехватывал встречных и всем кричал, что так нельзя... Надо защищаться. Надо стрелять из револьверов и всех перебить... Забросать поленьями, бить кольями, резать ножами... Поднял страшный крик. Запуганные люди выбегали из домов и умоляли его замолчать.

- Тише, реб Абрум, тише... ша!

Но он не мог успокоиться.

Бледный, с пеной у губ, со страшными глазами, он кричал на всю улицу, словно хотел заглушить криком собственный ужас.

- Зачем молчать? И до каких пор молчать? Мы всё молчали...

- Реб Абрум... ну, успокойтесь же... ша... Реб Абрум...

Те, кто не знал, отчего поднялся крик, думали, что же началось. Они выбегали из домов наготове, с женами, с детьми, с узлами в руках, и задворками, через огороды, убегали в поле, в высокую пшеницу.

Около Абрума собирался народ. К нему простерлись руки, его окружили бледные, пожелтевшие лица, красные от бессонной ночи глаза. И все молили: ша... тише... не накликай беды... Абрум замолк. И в тишине ему стало страшно.

Здесь, в этом местечке, где он родился и вырос, где столько лет, до самой старости, провел, трудясь для себя и других, он оказался как среди моря на корабле, который вот-вот потонет, а вокруг бушуют волны и ревет ветер в черном просторе. И нет ниоткуда спасения. Абрум обвел всех глазами. Тревожные блестящие глаза, с которыми встретился он, сказали тоже: нет ниоткуда спасения...

Все тело странно напряглось у него, и он сердцем услышал тот крик отчаяния, который глубоко таился в сердце его народа, даже вырваться опасаясь оттуда. Ему стало страшно... страшнее здесь, среди людей, чем в своем доме...

И вдруг Абрум услышал, как что-то рухнуло на него и мелкими мурашками пробежалось по телу. Это среди молчания обрушился на голову звон колоколов и помчался по городу, приплясывая и хохоча. От площади неся топот и слышался крик: уже идет... уже идет...

Может быть, там бьют, может быть, там кровь. Он ничего не знал. Может быть, там грабят и режут... Он только сознавал, что все вокруг него пришло в движение и какая-то сила вдруг подхватила его; что его со всех сторон толкают, что над ним тяжело дышат, что он бежит и слышит вокруг себя тяжелый топот ног и чувствует, как молотом бьет сердце в груди. Нечто огромное, стоногое, пышущее жаром бежало с ним

вместе, а он видел перед собой лишь длинные полы чьего-то халата, которые смешно разлетались на ветру. За ним кто-то гнался. Он мчался по тесным улицам, месил ногами глубокую пыль, пробежал мимо домов, сворачивал в сторону, и пот заливал ему глаза. Вот дом Мойше Цвейлибе, а вот хата убогой Ханы. Снова какая-то улица... еще один дом - чей это дом? Чей же это дом? А там уже поле... Только бы добежать, только бы добежать... Вот уже и дорога. И на ней кровь? Две длинные реки с обеих сторон? Ах, нет, эта ведь маки, такие страшные, красные... как человеческая кровь... Если бы добежать, если бы спрятаться, чтобы не слышать больше звона колоколов, красного звона, что мчится вдогонку, бьет в самое сердце, приплясывая и хохоча, как безумный.

Меетечко опустело. Все, кто только мог, бежали в поле и в лес. Осталась только слепая Эстерка, которую забыли взять с собой, да голодные некормленные козы, бродившие вокруг нее с жалобным плачем. А в странной мертвой тишине местечка плясали колокола. Большие, средние, маленькие. Солнце смеялась и устилало дорогу звоном, как ковром.

Эстерка сидела на пороге своей хаты, закрыв лицо руками. Она знала, что ее бросили, слепую, ненужную, одну на все местечко. Она одна встретит то, от чего все бежали, что там, в Одессе, отняло у нее сыновей. Но она не чувствовала страха. Чего бояться, когда самое страшное огнем пронизало ее сердце и выжигло там все? Не страх, а ненависть закипала в ее груди, когда она слушала колокольный звон. Эстерке казалось, что это не звуки, а сотни кровавых рук простерлись от колокольни и жадно трепещут над домами своими длинными пальцами. И ей хотелось вступить в бой с этими руками и собственным телом отвести от людей беду. Она встала с порога, простерла вперед руки, подняла лицо, по которому текли слезы из слепых глаз, и пошла навстречу звону. Сгорбленная фигура старухи с простертыми руками, сухая и решительная, казалась страшной среди безлюдья. Она шла и жадно ловила звуки, обращая их в ненависть.

Вдруг Эстерка среди звона колоколов услышала нечто иное. Сначала как бы тихий плач, а затем будто вой ветра. С течением времени эти звуки становились грубее, хрипели, обращались в рычание. Словно скотина редела в загоне или градовая туча мчалась по небу.

Это шел крестный ход.

Тысячи ног бил землю, тысячи тел колебали воздух, шелестели на просторе хоругви, о грубыми нечеловеческими голосами ревели толстые попы, как из бочки, а длинные пряди волос, развеваясь у них на ветру, бились о жесткие золотые ризы. Высоко над ними хмурилось почерное лицо убогого спаса, едва высываясь из кованных, богатых риз, тяжелых и неудобных. И играли богу славу колокола и пели ее от полного чрева жирные попы.

Эстерка сначала не понимала, откуда все эти звуки. быть может, это туча, страшная и черная, надвигается над головой и упадет дождь? Но потом, когда крестный ход был уже близко, она услышала знакомый напев и поняла. И вдруг вскипела от злобы: недоброй радостью налилось ее сердце.

- Ага! Он идет! Он идет!.. - кривились в усмешку ее уста, даже слезы перестали литься из глаз. Она спешила навстречу.

Крестный ход все приближался.

Когда же, наконец, ее овеяло духом человеческой массы и охватили страшные для нее голоса, слепая Эстерка стала, подняла руку, словно хотела остановить ряды, и закричала. Слова сливались у нее в горле в неясный крик. Она потрясала руками и стояла так, с открытым ртом. Сильное возбуждение, гнев отняли у нее речь. Она кричала что-то неясное, а ей казалось, что она говорит и извергает всю свою боль, все горе, всю ненависть.

- Слушай ты, еврейский сын! - кричала она словами, которые оставались у нее в горле. - Ты снова идешь? Ты, отнявший моих детей! Моего Лейбу и моего Хаима. Ты снова благословишь проливать кровь твоего народа!.. Слушай, отдай мне моих сыновей... Это я говорю тебе, я... слепая Эстерка, выплакавшая глаза... я, мать сыновей моих бедных... Слушай, куда ты идешь, погоди... хватит крови...

И она трясла кулаками и кричала словами, которые оставались глубоко в груди. Слезы, стекая из незрячих глаз, заполняли старый черный рот с двумя пеньками желтых зубов.

А мимо нее топотали тысячи ног, дышали тысячи грудей, ревели басы и плясали, как безумные, колокола. Большие, средние, маленькие...

25 августа 1906 г.

Чернигов